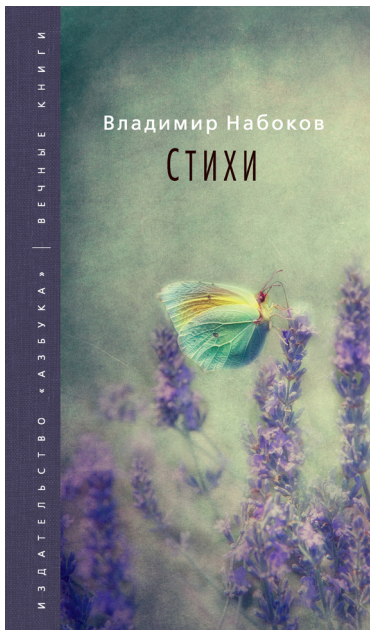




Владимир Владимирович Набоков
Стихи
Серия «Вечные книги (Азбука)»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10415910
Стихи: Азбука, Азбука-Аммикус; СПб.; 2015
ISBN 978-5-389-10265-1

Аннотация

В настоящем издании представлено наиболее полное собрание стихов Владимира Набокова. Отбор был сделан самим автором, однако увидеть книгу в печати он не успел. Сборник вышел в 1979 году в американском издательстве «Ардис» с лаконичным авторским названием – «Стихи»; в предисловии, также включенном в наше издание, Вера Набокова определила главную тему набоковского творчества: «Я говорю о потусторонности, как он сам ее называл...», той тайне, «которую он носит в душе и выдать которую не должен и не может».

И хотя цель искусства, как считал Набоков, лежит «в местах возвышенных и необитаемых, а отнюдь не в густонаселенной области душевных излияний», в стихах он не прячет чувств за карнавальными масками своих героев. «Читайте же стихи Набокова, – писал Андрей Битов, – если вам непременно надо знать, кто был этот человек. „Он исповедался в стихах своих довольно...“ Вы увидите Набокова и плачущим, и молящимся».

Содержание

Предисловие	7
Стихи	9
Дождь пролетел[1]	9
К свободе[2]	10
Поэт	11
«В хрустальный шар заключены мы были...»	12
«Ты на небе облачко нежное...»	13
Россия	14
Архангелы	15
Тайная вечеря	16
/ Отрывок /	17
Движение	18
Рыцарь	19
Еще безмолвствую	20
Номер в гостинице	21
Акрополь	22
Football	23
La Morte d'Arthur	24
«Будь со мной прозрачнее и проще...»	25
У камина	26
«Людам ты скажешь: настало...»	27
Телеграфные столбы	28
«Когда, мечтательно склонившись у дверей...»	29
«В неволе я, в неволе я, в неволе!...»	30
Романс	31
Ласточки	32
Так будет	33
«Я без слез не могу...»	34
Каштаны	35
И. А. Бунину	36
«Разгорается высь...»	37
В раю	38
Пир	39
Тристан	40
Облака	42
В поезде	43
«Кто меня повезет...»	44
Перо	45
«Мечтал я о тебе так часто, так давно...»	46
«Как было бы легко, как песенно, как дружно...»	47
«От взгляда, лепета, улыбки...»	48
«Позволь мечтать... Ты первое страданье...»	49
«Мерцательные тикают пружинки...»	50
Рождество	51
Осенние листья	52
Домой	53

Велосипедист	54
Бабочка	55
Кони	56
Пьяный рыцарь	57
«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...»	58
Знаешь веру мою?	59
«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!..»	60
Пасха	61
Грибы	62
«Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой...»	63
Волчонок	64
«Как объясню? Есть в памяти лучи...»	65
«Если ветер судьбы, ради шуток...»	66
Finis	67
«Я видел смерть твою, но праздную мольбой...»	68
«Как затаю, что искони кочую...»	69
Жемчуг	70
Сон	71
«В каком раю впервые прожурчали...»	72
«В кастальском переулке есть лавчонка...»	74
«И все, что было, все, что будет...»	76
«Я где-то за городом, в поле...»	77
Трамвай	78
Письма	79
«День за днем, цветущий и летучий...»	80
Эфемеры	81
«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...»	82
«И утро будет: песни, песни...»	83
«Глаза прикрою – и мгновенно...»	84
«При луне, когда косую крышу...»	85
«Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное...»	86
Памяти Гумилева	87
Родине	88
Река	89
«Когда я по лестнице алмазной...»	92
«В часы трудов счастливых и угрюмых...»	93
«О, как ты рвешься в путь крылатый...»	94
«Я странствую... Но как забыть? Свистящий...»	95
«Нет, бытие – не зыбкая загадка!..»	96
Встреча	97
Песня	99
Прованс	101
«Зовешь, – а в деревце гранатовом соенок...»	103
«Как бледная заря, мой стих негромок...»	104
«Ночь свищет, и в пожары млечные...»	105
«Я помню в плюшевой оправе...»	106
«Санкт-Петербург – узорный иней...»	108
Гроза	109
Автобус	110

Барс	111
«Милая, нежная – этих старинных...»	112
«Из мира уползли – и ноют на луне...»	113
«Я Индией невидимой владею...»	114
Видение	115
Об ангелах	116
Смерть	118
Скитальцы	119
На рассвете	120
Гость	121
Кубы	122
Стансы	123
La bonne Lograine	124
Молитва	125
Стихи	126
Санкт-Петербург	127
Вечер	128
«Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?..»	129
Страна стихов	130
Исход	131
Костер	133
Утро	134
В пещере	135
К родине	136
Великан	137
Шекспир	138
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Владимир Набоков

Стихи

© М. Маликова, статья, комментарии, 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Предисловие

Этот сборник – почти полное собрание стихов, написанных Владимиром Набоковым. Не вошли в него только, во-первых, совсем ранние произведения, во-вторых, такие, которые по форме и содержанию слишком похожи на другие, и, в-третьих, такие, в которых он находил формальные недостатки. Отбор был сделан самим автором. Он собирался сделать еще один, более строгий просмотр, но не успел.

Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он писал; она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю о «потусторонности», как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении «Влюбленность». Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как «Еще безмолвствую и крепну я в тиши...», просвечивает в «Как я люблю тебя» («...и в вечное пройти украдкою насквозь»), в «Вечере на пустыре» («...оттого что закрыто неплотно, и уже невозможно отнять...»), и во многих других его произведениях. Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении «Слава», где он определил ее совершенно откровенно как тайну, которую носит в душе и выдать которую не должен и не может.

Этой тайне он был причастен много лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок.

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.

Чтобы еще точнее понять, о чем идет речь, предлагаю читателю ознакомиться с описанием Федором Годуновым-Чердынцевым своего отца в романе «Дар» (стр. 130, второй абзац, и продолжение на стр. 131).

Сам Набоков считал, что все его стихи распадаются на несколько разделов. В своем предисловии к сборнику *Poems and Problems* («Стихи и задачи») он писал: «То, что можно несколько выпренно назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз: первоначальная, банальные любовные стихи (в этом издании не представлена); период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии – интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной „парижской школы“ эмигрантской поэзии); и наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий, внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля». Однако такие стихи, как, например, «Вечер на пустыре» (1932 г.) или «Снег» (1930 г.), тоже относятся скорее к этому последнему периоду.

Почти все собранные здесь стихи были напечатаны в эмигрантских газетах и журналах вскоре после их написания. Многие появились в печати по два или три раза. Многие вошли потом в сборники: «Возвращение Чорба» (24 стихотворения и 14 рассказов; Берлин, «Слово», 1930 г.); «Стихотворения 1929–1951 гг.» (Париж, «Рифма», 1952 г.); *Poesie* (16 русских стихотворений – из издания «Рифма» – и 14 английских стихотворений, в итальян-

ском переводе, с оригинальным текстом *en regard*, (Милан, Il Saggiatore, 1962); *Poems and Problems* (39 русских стихотворений с английскими переводами, 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач; Нью-Йорк, McGraw Hill, 1970).

Вера Набокова

Стихи

Дождь пролетел¹

Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист.
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.

Выра
1917 г.

¹ Выражение «летит дождь» заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в «Других берегах», который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, «Два пути», вышедшем в Петрограде в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г. – *Здесь и далее постраничные примеч. автора.*

К свободе²

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и высям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
И заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит все та же ночь.

Крым 1917 г.

² Главный – в сущности, единственный – интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полустолетия, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта. Возможно, что оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло.

Поэт

Среди обугленных развалин,
среди унижительных могил —
не безнадежен, не печален,
но полон жизни, полон сил, —

с моею музою незримой
так беззаботно я брожу
и с радостью неизъяснимой
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу
и сладостные слезы лью,
и никого я не обижу,
и никого не люблю.

Иное счастье мне доступно,
я предаюсь иной тоске,
а все, что жалко иль преступно,
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,
там, сполохами окружен,
мир сотрясается и старый
переступается закон.

Там опьяневшие народы
ведет безумие само, —
и вот на чучеле свободы
бессменной пошлости клеймо.

Я в стороне. Молюсь, ликую,
и ничего не надо мне,
когда вселенную я чую
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,
то с ветром, с птицей уношусь
и со святыми небесами
мечтами чистыми делюсь.

«В хрустальный шар заключены мы были...»

В хрустальный шар заключены мы были,
и мимо звезд летели мы с тобой,
стремительно, безмолвно мы скользили
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;
нас вечности восторг соединил;
по небесам, обнявшись, мы летели,
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,
остановил наш огненный порыв
и поцелуй прервал наш безначальный,
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:
лишь изредка вспомнится во сне
и трепет наш, и трепет звездной пыли,
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звездной,
оставшейся на кончиках ресниц...

*Крым
1918 г.*

«Ты на небе облачко нежное...»

Ты на небе облачко нежное,
ты пена прозрачная на море,
ты тень от мимозы на мраморе,
ты эхо души неизбежное...
И песня звенит безначальная.
Зову ли тебя – откликаешься,
ищу ли – молчишь и скрываешься,
найду ли? Не знаю, о Дальняя.

Ты сон навеваешь таинственный.
Взволнован я ночью туманною,
живу я мечтой несказанною,
дышу я любовью единственной.
И счастье мне грезится дальнее,
и снится мне встреча блаженная,
и песня звенит вдохновенная,
свиваясь в кольцо обручальное.

*Крым
1918 г.*

Россия

Не все ли равно мне, рабой ли, наемницей
иль просто безумной тебя назовут?
Ты светишь... Взгляну – и мне счастье вспомнится.
Да, эти лучи не зайдут.

Ты в страсти моей, и в страданиях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была.
В полях озаренных, холодных и девственных,
цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным,
весной целовала ресницы мои.
Ты в душных церквах повторяла за дьяконом
слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами;
в день зимний я в иное видел твой лик.
Ты ночью склонялась со мной над страницами
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь. Таинственно создан я
из блеска и дымки твоих облаков.
Когда надо мною ночь плещется звездная,
я слышу твой реющий зов.

Ты – в сердце, Россия. Ты – цель и подножие,
ты – в ропоте крови, в смятенье мечты.
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты.

*Крым
1918 г.*

Архангелы

Поставь на правый путь. Сомнения развей.
Ночь давит над землей, и ночь в душе моей.
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.
Небытия намеков я чувствую в эту ночь.
И страшно мне уснуть.

Я верю – ты придешь, наставник неземной,
на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.
Я верю, ты придешь.

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,
невидимого мне попутчика ты дашь.
Ты знаешь мира ложь.

И вотходишь ты. Не мею и дрожу,
движенье верное руки твоей слежу.
И вотходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.
О, дух пророческий, ты говоришь, он – мой?
Средь чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.
И льстива, и страшна ночного беса власть,
О, я боюсь идти.

«Не бойся: по пути ты не один пойдешь.
Не будешь ты один и если соскользнешь
с высокого пути...»

*Крым
1918 г.*

Тайная вечеря

Час задумчивый строгого ужина,
предсказания измен и разлуки.
Озаряет ночная жемчужина
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу.
У Христа – серебристые руки.
Ясно молятся свечи, и по столу
ночные ползут мотыльки.

*Крым
1918 г.*

/ ОТРЫВОК /

Твоих одежд воздушных я коснулся,
и мелкие посыпались цветы
из облака благоуханной ткани.
Стояли мы на белых ступенях,
в полдневный час, у моря, – и на юге,
сверкая, колебались корабли.
Спросила ты:

что на земле прекрасней
темно-лиловых лепестков фиалок,
разбросанных по мрамору?

Твои
глаза, твои покорные глаза,
я отвечал.

Потом мы побрели
вдоль берега, ладонями блуждая
по краю бледно-каменной ограды.
Синела даль. Ты слабо улыбалась,
любуюсь парусами кораблей,
как будто вырезанными из солнца.

Крым
1918 г.

Движение

Искусственное тел передвижение —
вот разума древнейшая любовь,
и в этом жадно ищет отраженья
под кожей кружащаяся кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной
чудовище с зарницей на хребте
как бы грозой неистово-железной
проносится в гремящей темноте.

И чуя, как добычу, берег дальний,
стоокие, по морокам морей
плывут и плещут музыкою бальной
чертоги исполинских кораблей.

Наклон, оправданное вычисление
да четкий, повторяющийся взрыв —
и вот оно, Дедала сновиденье,
взлетает, крылья струнные раскрыв.

*Крым
1918 г.*

Рыцарь

Я в замке. Ночь. Свод сумрачно-дубовый.
Вдоль смутных стен портретов смутный ряд.
Я не один: в углу – средневековый
суровый страж, составленный из лат.

Он в полутьме, как сон убийцы хмурый,
стоял с копьем в закованной руке.
Я расставлял огромные фигуры
при трех свечах на шахматной доске.

И вот огонь угрюмый ответ кинул
на рыцаря – и видел, слышал я:
он медленно забрало отодвинул,
и звякнула стальная чешуя.

Он подошел тяжелою походкой,
стуча копьем и латами звеня;
сел предо мной и руку поднял четко
и стал играть, не глядя на меня.

Взор опустил и трепетом объятый,
бессмысленно я пешки выдвигал.
Жемчужные и черные квадраты
крылатый ветер, дохнув, перемешал.

Последнею пожертвовал я пешкой,
шепнул: «Сдаюсь», и победитель мой
с какою-то знакомою усмешкой,
привстав, ко мне нагнулся над доской...

Очнулся я. Недвижно рыцарь хмурый
стоит в углу с копьем своим в руке,
и на местах все тридцать две фигуры
передо мной на шахматной доске.

18 марта 1919 г.

Еще безмолвствую

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.
Созданий будущих заоблачные грани
еще скрываются во мгле моей души,
как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.
Все шире, шире даль, светлей, разнообразней,
и на звенящую, на первую ступень
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

*Крым
1919 г.*

Номер в гостинице

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим – я и тень моя.

Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.

*Севастополь
1919 г.*

Акрополь

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эрехтейон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след, от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти:
там, чудится, по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...
О, как свежа, благоговейна тишь
в святилище, где дышит тень оливы!

*Англия
1919 г.*

Football

Я видел, за тобой шел юноша, похожий
на многих; знал я все: походку, трубку, смех.
Да и таких, как ты, немало ведь, – и что же,
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно
играли мы, кружась под зимней синевой.
Отрадная игра! Широкая поляна;
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,
то – выстрела звучней – взвивается, и вот
подпрыгиваю я, с размаху прерывая
его стремительный полет.

Увидя мой удар, уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
знаком ли он тебе – вон тот, в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач.

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я – приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубкой стукнул о каблук.

А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы,
что вот один из тех беспечных игроков
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,
созвучья для иных веков.

*Кембридж
1919 г.*

La Morte d'Arthur

Все, что я видел, но забыл,
ты, сказка гулкая, напомни;
да: робким рыцарем я был,
и пряжка резала плечо мне.

Да. Злая встреча у ручья
в тот вечер шелково-зеленый,
кольчуги вражьей чешуя
и конь под траурной попоной.

16 декабря 1919 г.

«Будь со мной прозрачнее и проще...»

Будь со мной прозрачнее и проще:
у меня осталась ты одна.
Дом сожжен и вырублены рощи,
Где моя туманилась весна,

где березы грезили и дятел
по стволу постукивал... В бою
безысходном друга я утратил,
а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,
наяву с блудницами блуждал;
и в горах я вымыслы развеял,
и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне
тосковать у твоего огня.
Будь нежней, будь искреннее. Помни,
Ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919 г.

У камина

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,
оживают слова, как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я все, что, бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня...

13 марта 1920 г.

«Людам ты скажешь: настало...»

Посвящается матери

Людам ты скажешь: настало.
Завтра я в путь соберусь.
(Голуби. Двор постоянный.
Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома.
(Кладбище. Мост. Поворот.)
Будет старик незнакомый
Вместо дубка у ворот.

*Кембридж
3 мая 1920 г.*

Телеграфные столбы

Столбов однообразных придорожных
фарфоровые бубенцы и шесть
гудящих струн.

Скользит за вестью весть —
шум голосов бесчисленных, тревожных
и жалобных, скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,
ты, странник загорелый, босоногий,
замедли шаг и с ветром замирай,
внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,
и каждый столб ложится длинной тенью,
и путь далек, и ты один...

11 мая 1920 г.

«Когда, мечтательно склонившись у дверей...»

Когда, мечтательно склонившись у дверей,
ночь придает очарованье
печалю жизненным, я чувствую острой
свое ненужное призванье.

Ненужное тебе, рабыня губ моих,
и от тебя его я скрою,
и скрою от друзей, нечистых и пустых,
полузавистливых порою.

Деревья вешние в мерцающих венцах,
улыбка нищего, тень дыма,
тень думы – вижу все; в природе и в сердцах
мне ясно то, что вам незримо.

От счастья плачет ночь, и вся земля в цвету...
Благоговею, вспоминаю,
творю – и этот свет на вашу слепоту
я никогда не променяю!

*Кембридж
12 мая 1920 г.*

«В неволе я, в неволе я, в неволе!..»

В неволе я, в неволе я, в неволе!
На пыльном подоконнике моем
следы локтей. Передо мною дом
туманится. От несравненной боли
я изнемог... Над крышей, на спине
готического голого уродца,
как белый голубь, дремлет месяц... Мне
так грустно, мне так грустно... С кем бороться —
не знаю, Боже. И кому помочь —
не знаю тоже... Льется, льется ночь
(о, как ты, ласковая, одинока!);
два голоса несутся издалёка;
туман луны стекает по стенам;
влюбленных двое обнялись в тумане...
Да, о таких рассказывают нам
шарманки выцветших воспоминаний
и шелестящие сердца старинных книг.
Влюбленные. В мой переулок узкий
они вошли. Мне кажется на миг,
что тихо говорят они по-русски.

*Кембридж
31 мая 1920 г.*

Романс

И на берег весенний пришли мы назад
сквозь туман исступленных растений.
По сырому песку перед нами скользят
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,
а над морем, над золотоглазым,
кипарисы на склонах струятся к луне,
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд
непонятно звенят, а над морем
повисает горящий, змеящийся мост,
и как дети о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней.
Это больно, и это не нужно...
Мы идем, и следы наших голых ступней
наполняются влагой жемчужной.

*Кембридж
8 июня 1920 г.*

Ласточки

Инок ласковый, мы реем
над твоим монастырем
да над озером, горящим
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем —
утром сонным в сентябре.
В Цареграде — на закате,
в Назарете — на заре.

Но на север мы в апреле
возвращаемся, и вот
ты срываешь, инок тонкий,
первый ландыш у ворот;

и, не понимая птичьих
маленьких и звонких слов,
ты нас видишь над крестами
бирюзовых куполов.

10 июня 1920 г.

Так будет

С собакою седой, которая когда-то,
смеясь по-своему, глядела мне в глаза,
ты выйдешь ввечеру, и месяц, как слеза,
прольется на цветы последние заката.

Над книжкой, в полутьме блеснувшей белизной,
склони ты голову, склони воспоминанья,
прими, пойми стихи, задуманные мной
на дальней пристани в ночь звездную изгнанья.

Ты будешь тосковать, угадывая, чья
лепечущая тень печалила поэта.
Ты вспомнишь свежие и сладостные лета,
золотоствольный лес и встречи у ручья.

И улыбнешься ты загадочно, и сядешь
на мшистую скамью в лесу на склоне дня,
и светлой веткою черемухи погладишь
собаку старую, забывшую меня.

*Кембридж
11 июня 1920 г.*

«Я без слез не могу...»

Я без слез не могу
тебя видеть, весна.
Вот стою на лугу
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму;
только знаю одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул —
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

1920 г.

Каштаны

Цветущие каштаны, словно храмы
открытые, сияют вдоль реки.
Их красоту задуют ветерки
зазорные, но в этот вечер – самый
весенний из весенних вечеров —
они чудесней всех твоих даров,
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто
в цветах звенит (кто, ангел или дрозд?),
и тени изумрудные слоистой
листвы и грозди розовые звезд
в воде отражены.

Я здесь, упрямый,
юродивый, у паперти стою
и чуда жду, и видят грусть мою
каштаны, восхитительные храмы...

*Кембридж
1920 г.*

И. А. Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один
над маревом губительных годин,
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росой ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кошунственном, но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

1920 г.

«Разгорается высь...»

Разгорается высь,
тает снег на горе.
Пробудись, отзовись,
говори о заре.
Таает снег на горе
пред пещерой моей,
и вся даль в серебре
осторожных лучей.
Повторяй мне, душа,
что сегодня весна,
что земля хороша,
что и смерть не страшна;
что над первой травой
дышит горный цветок,
наряженный в живой
мягко-белый пушок;
что лепечут ручьи
и сверкают кругом
золотые струи;
что во всех и во всем
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живет;
что весенний цветок,
ветерок, небосвод,
нежных тучек кайма,
и скала, и поток,
и, душа, ты сама —
всё одно, и всё — Бог.

1920 г.

В раю

Здравствуй, смерть! – и спутник крылатый,
объясняя, в рай уведет,
но внезапно зеленый, зубчатый,
нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде,
я рванусь и в чаще найду
прежний дом мой земной, и, как прежде,
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской
в голубом окошке моем,
да диван из березы карельской,
да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом:
на столе открыта тетрадь...
Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять.

*Кембридж
1920 г.*

Пир

Так лучезарна жизнь, и радостей так много.
От неба звездного чуть слышный веет звон:
бесчисленных гостей полны чертоги Бога;
в один из них я приглашен.

Как нищий я пришел; но дали мне у двери
одежды светлые, и распахнулся мир:
со стен расписанных глядят цветы и звери,
и звучен многолюдный пир.

Сижу я и дивлюсь... По временам бесшумно
дверь открывается в мерцающую тьму.
Порою хмурится сосед мой неразумный,
а я – я радуюсь всему:

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;
и часто на меня со светлым, тихим смехом
хозяин смотрит через стол.

22 мая 1921 г.

Тристан

1

По водам траурным и лунным
не лебедь легкая плывет,
плывет ладья и звоном струнным
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим
ладью, поющую во сне,
с увещеваньем шелестящим
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный
склонен на блеклые шелка,
и арфы ледяные струны
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече,
и не узнают никогда,
что это плачет и лепечет —
луна ли, ветер, иль вода...

2

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых
и спал на ложе изо льда.
Изольда, золото волос твоих волнистых
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились;
другие, легкие, как сны,
мерцали белизной. Изольда, мы сходились
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обагрят средь тьмы и аромата,
и бег лисицы голубой
я по снегу следил. Изольда, мы когда-то
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белоглазых,
пушистых, сморщенных детей.

В полочных небесах, Изольда, в их алмазах
ты не прочтешь судьбы моей.

1921 г.

Облака

1

На солнце зóлотом сверкает дождь летучий,
озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая
соцветья вешние, склонясь через плетень,
и на твоём лице играет их сырая,
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи. Тень эту голубую
я поцелуями любовно обогну.
Цветы колышутся... я счастлив. Я целую
запечатленную весну.

2

Закатные люблю я облака:
над ровными, далекими лугами
они висят гроздистыми венками,
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,
овеяна безвестными веками:
с кудрявыми багряными богами
я рядом плыл в те вольные века.

Я облаком в вечерний чистый час
вставал, пылал, туманился и гас,
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.
Я облетал все зримое кругом,
блаженствовал и, помню, был влеком
жемчужной тенью, женственной тучей.

*Берлин
1921 г.*

В поезде

Я выехал давно, и вечер неродной
рдел над равниною нерусской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный.

По занавеске свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колес, я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный.
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

*Груневальд
4 июля 1921 г.*

«Кто меня повезет...»

Кто меня повезет
по ухабам домой,
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь – вот теперь —
есть ли там кто-нибудь,
кто почуял бы вдруг,
что в далеком краю
я брожу и пою,
под луной, о былом?

*Берлин
1921 г.*

Перо

Зелененьким юрким внучатам
наказывал леший в бору:
«По черным ветвям, по зубчатым,
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешенечки,
и клетку из лунных лучей
возьмите у ключницы-ночки,
да так, чтоб не видел Кошей.

Далече от чащи брусничной
умчите добычу свою;
найдете вы домик кирпичный
в заморском туманном краю.

Оставьте ее на пороге:
там кроткий изгнанник живет;
Любил он лесные дороги
и вольный зеленый народ».

Так дедушка-леший на ели
шушукал, и вот ввечеру,
как струны, стволы зазвенели
и что-то мелькнуло в бору.

Маячило, билось, блестело,
Заохал, нахохлился дед...
Родимые, знать, улетела
жар-птица из пестрых тенет.

Но утром, как пламя живое,
на пыльном пороге моем
лежало перо огневое
с цветным удлиненным глазком.

Ну что ж, и за этот подарок
спасибо, лесные друзья.
Я беден, и день мой неяркий,
и как же обрадован я.

*Кембридж
7 июня 1921 г.*

«Мечтал я о тебе так часто, так давно...»

Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,
о неге роз и море мгlistом
я перелистывал и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебнo-звонкий
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке.

Я звал тебя, я ждал. Шли годы. Я бродил
по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья-зеркала
тебя предсказывали верно.

6 июля 1921 г.

«Как было бы легко, как песенно, как дружно...»

Как было бы легко, как песенно, как дружно
мои моления бы неслись,
когда бы мы в саду, во храме ночи южной
с тобой нечаянно сошлись.

Свет лунный по кустам, как лоск на мокрых сливах,
там серебрится средь полян.
Бестрепетны цветы. В аллеях молчаливых
медвяный, бархатный туман.

И ветерок вдали рождается, и вскоре
вздыхает жимолость во сне.
За кипарисами угадываешь море.
Чу! Море молится луне.

Скользит оно, скользит, сокрытой страстью вея,
и слышишь и не слышишь ты,
и смутный мотылек, жужжа и розовея,
считает смутные цветы.

9 июля 1921 г.

«От взгляда, лепета, улыбки...»

От взгляда, лепета, улыбки
в душе глубокой иногда
свет загорается незыбкий,
восходит крупная звезда.

И жить не стыдно и не больно;
мгновенье учишься ценить,
и слова одного довольно,
чтоб все земное объяснить.

*Груневальд
31 июля 1921 г.*

«Позволь мечтать... Ты первое страданье...»

Позволь мечтать... Ты первое страданье
и счастье последнее мое.
Я чувствую движение и дыхание
твоей души... Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье...
Позволь мечтать, о, чистая струна!
Позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

6 августа 1921 г.

«Мерцательные тикают пружинки...»

Мерцательные тикают пружинки,
и осыпаются календари.
Кружатся то стрекозы, то снежинки,
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,
как в городке на берегу морском,
есть некий гул; он дышит смутной силой,
он ширится; он с детства мне знаком.

И ночью перезвоном волн да кликом
струн, дальних струн, неисчислимых струн,
взволнован мрак, и в трепете великом
встаю на зов, доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участие,
я чувствую, что ночи звезд полны;
а жизнь летит, горит и гаснет счастье,
и от весны недолго до весны.

14 августа 1921 г.

Рождество

Мой календарь полуопалый
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел.

Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостиной пахнет голубой.

Берлин

23 сентября 1921 г.

Осенние листья

Стою я на крыльце. Напротив обитает
ценитель древностей; в окошке пастушок
точёный выставлен. В лазури тучка тает,
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый блестящий человечек:
чернеют близ меня два голых деревца,
и сколько золотых рассыпанных сердечек
на ступенях крыльца.

*Кембридж
8 ноября 1921 г.*

Домой

На мызу, милые! Ямщик
вожжею овода прогонит,
и – с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик,
и свеж, и светел мир, омытый
недавним ливнем: благодать,
благоуханье. Что гадать?
Все ясно, ясно; мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки.
Скорее, милые! Рокошет
мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!

/1917–1922/

Велосипедист

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты.

Поля, поля, и над равниной
ворона тяжело летит.
Под узкой и упругой шиной
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.
Сирень цветущая вокруг
избушек серых. Слева, справа
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,
тот кличет тонким голоском,
и звонко собачонка лает,
вертясь пред зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет
над ними чистый небосвод.
Я мчусь, и солнце спину греет,
и вот неожиданно поворот.

Колеса косо пробегают,
не попадая в колею.
Деревья шумно обступают.
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.
Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей.

/1917–1922/

Бабочка (*Vanessa antiopa*)

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы
созревшей,
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
сладостно светится ряд васильково-лазоревого
зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...
О, как ликуют они, как мерцают божественно!
Скажешь:
голубоокая ночь в раме двух палевых зорь.
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой
северной рощи!
Трепет, и смех, и любовь юности вечной моей.
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,
крылья узнаю твои, этот священный узор.

/1917-1922/

Кони

Гнедые, грузные, по зелени сырой
весенней пажити, под тусклыми дубами,
они чуть двигались и мягкими губами
вбирали сочные былинки, и зарей,
вечернею зарей полнеба розовело.

И показалось мне, что время обмертвело,
что вечно предо мной стояли эти три
чудовищных коня; и медные отливы
на гривах медлили, и были молчаливы
дубы священные под крыльями зари.

/1917–1922/

Пьяный рыцарь

С тонким псом и смуглым кубком
жарко-рдяного вина,
ночью лунной в замке деда
я загрезил у окна.

В длинном платье изумрудном,
вдоль дубравы на коне
в серых яблоках ты плавно
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,
вывел лучшего коня,
рыскал, рыскал по дубраве,
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,
что под трезловой листвою
жемчужовые подковы,
оброненные луной.

/1917–1922/

«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...»

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда
пускались странствовать по шепчущим лесам,
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,
блистая по листьям.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;
мы в ивовом кусте отыскивали с ней
то лаковых жучков, то гусениц, похожих
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,
и всем березанькам давали имена,
и младшую из них мы назвали: Мария
святая Белизна.

О Боже! Я готов за вечными стенами
неисчислимые страданья воспринять,
но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами
хоть миг, да постоять.

/1917–1922/

Знаешь веру мою?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?
Голубою весной облака я люблю,
райский сахар на блюде блестящем;
и люблю я, как льются под осень дожди
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.
Есть такие закаты, что хочется плакать,
а иному шепнешь: подожди.
Если ветер ты любишь и ветки сырые,
Божьи звезды и Божьих зверьков,
если видишь при сладостном слове «Россия»
только даль и дожди золотые, косые
и в колосьях лазурь васильков, —
я тебя полюблю, как люблю я могучий,
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,
и мохнатых цветных червяков;
полюблю я тебя оттого, что заметишь
все пылинки в луче бытия,
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.

Вот вся вера моя.

1922 г.

«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!..»

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!
Как тесно яблоки висят!
Как бы сквозь них блаженно солнце светит,
стекая в сад.

И сонный, сладостный в аллеях лепет слышен:
то словно каплет на песок
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают;
на листьях солнечный отлив...
Деревья спят, и осы не слетают
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?
Кто вертограда господин?
В тени аллей, один, лилейно-белый,
живет павлин.

1922 г.

Пасха

На смерть отца

Я вижу облако сияющее, крышу,
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

1922 г.

Грибы

У входа в парк, в узорах летних дней
 скамейка светит, ждет кого-то.
На столике железном перед ней
 грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —
 что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
 из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь
 на шляпках выгнутых дырявых;
они во мраке влажном вознеслись
 под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,
 таких родных, пахучих, мшистых,
и слезы леса летнего горят
 на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой — посмотри —
 плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана внутри
 черничным лиловатым соком.

13 ноября 1922 г.

«Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой...»

Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой,
на простор выезжаю, и солнце со мной;
и последние стрелы дождя золотого
шелестят над истомой земной.

В золотое мерцанье, смиренный и смелый,
выезжаю из мрака на легком коне:
Этот конь – ослепительно, сказочно белый,
словно яблонный цвет при луне.

И сияющий дождь, золотясь, замирая
и опять загораясь, – летит и звучит
то земным изумленьем, то трепетом рая,
ударяя в мой пламенный щит.

И на латы слетает то роза, то пламя,
и в лазури живой над грозой бытия
вольно плещет мое лебединое знамя,
неподкупная юность моя!

1 декабря 1922 г.

Волчонок

Один, в рождественскую ночь, скулит
и ёжится волчонок желтоглазый.
В седом лесу зеленый свет разлит,
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,
мерцаая, ангелам щекочут пятки.
Взьерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих
все ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.
Волчонку, елкам, звездным небесам —
всем было в эту ночь отрадно.

8 декабря 1922 г.

«Как объясню? Есть в памяти лучи...»

Как объясню? Есть в памяти лучи
сокрытые; порою встрепетается
дремавший луч. О муза, научи:
в понятный стих как призрак перельется?
Проезжий праздный в городе чужом,
я, невзначай, перед каким-то домом,
бессмысленно, пронзительно знакомым...
Стой! Может быть, в стихах мы только лжем,
темним и рвем сквозную мысль в угоду
размеру? Нет, я верую в свободу
разумную гармонии живой.
Ты понимаешь, муза, перед домом,
мне, вольному бродяге, незнакомым
и мне – родным, стою я сам не свой
и, к тайному прислушиваясь пенью,
все мелочи мгновенно узнаю:
в сплошном окне косую кисею,
столбы крыльца, и над его ступенью
я чувствую тень шага моего,
иную жизнь, иную чую участь
(дай мне слова, дай мне слова, певучесть),
всё узнаю, не зная ничего.

Какая жизнь, какой же век всплывает,
в безвестных безднах памяти звеня?
Моя душа, как женщина, скрывает
и возраст свой, и опыт от меня.
Я вижу сны. Скитаюсь и гадаю.
В чужих краях жду поздних поездов.
Склоняюсь в гул зеркальных городов,
по улицам волнующим блуждаю:
дома, дома; проулок; поворот —
и вот опять стою я перед домом,
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и рвет.

Stettin

10 декабря 1922 г.

«Если ветер судьбы, ради шутки...»

В. III.

Если ветер судьбы, ради шутки,
дохнув, забросит меня
в тот город желанный и жуткий,
где ты вянешь день ото дня,

и если на улице яркой
иль в гостях, у новых друзей,
или там, у дворца, под аркой,
среди лунных круглых теней,

мы встретимся вновь, — о Боже,
как мы будем плакать тогда
о том, что мы стали несхожи
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,
о великой ее мечте;
о том, что дома на Мильонной
на вид уж совсем не те.

1922 г. (?)

Finis

Не надо плакать. Видишь, там – звезда,
там – над листвою, справа. Ах, не надо,
прошу тебя! О чем я начал? Да, —
о той звезде над чернотою сада;

на ней живут, быть может... что же ты,
опять! Смотри же, я совсем спокоен,
совсем... Ты слушай дальше: день был зноен,
мы шли на холм, где красные цветы...

Не то. О чем я говорил? Есть слово:
любовь, – глухой глагол: любить... Цветы
какие-то мне помешали. Ты
должна простить. Ну вот – ты плачешь снова.

Не надо слез! Ах, кто так мучит нас?
Не надо помнить, ничего не надо...
Вон там – звезда над чернотою сада...
Скажи – а вдруг проснемся мы сейчас?

9 января 1923 г.

«Я видел смерть твою, но праздною мольбой...»

Я видел смерть твою, но праздною мольбой
в час невозможный не обидел
голубогрудых птиц, дарованных тобой,
поющих в памяти. Я видел.

Я видел: ты плыла в серебряном гробу,
и над тобою звезды плыли,
и стыли на руках, на мертвом легком лбу
концы сырые длинных лилий.

Я знаю: нет тебя. Зачем же мне молва
необычайная перечит?
«Да полно, — говорит, — она жива, жива,
все так же пляшет и лепечет».

Не верю... Мало ли что люди говорят.
Мой Бог и я — мы лучше знаем...
Глаза твои, глаза в раю теперь горят:
разлучены мы только раем.

10 января 1923 г.

«Как затаю, что искони кочую...»

Как затаю, что искони кочую,
что, с виду радостен и прост,
в душе своей невыносимо чую
громады, гул, кишенье звезд?

Я, жадный и дивящийся ребенок,
я, скрученный из гулких жил,
жемчужных дуг и алых перепонок, —
я ведаю, что вечно жил.

И за бессонные эоны странствий,
на всех звездах, где боль и Бог,
в горящем, оглушительном пространстве
я многое постигнуть мог.

И трудно мне свой чудно-бесполезный
огонь сдержать, крыло согнуть,
чтоб невзначай дыханьем звездной бездны
земного счастья не спугнуть.

13 января 1923 г.

Жемчуг

Посланный мудрейшим властелином
страстных мук изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда,
среди морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,
я на дне. Но снизу, сквозь струи,
все же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи.

14 января 1923 г.

Сон

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.

А вверху – часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой...

15 января 1923 г.

«В каком раю впервые прожурчали...»

В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе, из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, но ты неуловима
и сказочной осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты – за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдорадо
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, Калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,
вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом,
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии – к невесте,
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыть локтем, я целился в кого-то
и не успел тугой курок пригнуть.

Вставали за разлуками разлуки,
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты.

16 января 1923 г.

«В кастальском переулке есть лавчонка...»

В кастальском переулке есть лавчонка:
колдун в очках и сизом сюртуке
слова, поблескивающие звонко,
там продает поэтовой тоске.

Там в беспорядке пестром и громоздком
кинжалы, четки – сказочный товар!
В углу – крыло, закапанное воском,
с пометкою привешенной: Икар.

По розам голубым, по пыльным книгам
ползет ручная древняя змея.
И я вошел, заплаканный, и мигом
смекнул колдун, откуда родом я.

Принес футляр малиново-зеленый,
оттуда лиру вытащил колдун,
новейшую: большой позолоченный
хомут и проволоки вместо струн.

Я отстранил ее... Тогда другую
он выложил: старинную, в сухих
и мелких розах – лиру дорогую,
но слишком нежную для рук моих.

Затем мы с ним смотрели самоцветы,
янтарные, сапфирные слова,
слова-туманы и слова-рассветы,
слова бессилия и торжества.

И куклою, и завитками урны
колдун учтиво соблазнял меня;
с любовью гладил волосок лазурный
из гривы баснословного коня.

Быть может, впрямь он был необычаен,
но я вздохнул, откинул огоньки
камней, клинков – и вышел; а хозяин
глядел мне вслед, подняв на лоб очки.

Я не нашел. С усмешкою суровой
сложи, колдун, сокровища свои.
Что нужно мне? Одно простое слово
для горя человеческой любви.

17 января 1923 г.

«И все, что было, все, что будет...»

...И все, что было, все, что будет,
и золотую жажду жить,
и то бессонное, что нудит
на звуки душу разложить,

все объясняли, вызывали
глаза возлюбленной земной,
когда из сумрака всплывали
они, как царство, предо мной.

18 января 1923 г.

«Я где-то за городом, в поле...»

Я где-то за городом, в поле,
и звезды гулом неземным
плывут, и сердце вздулось к ним,
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод —
и все труднее, все суровей —
в моих бессонных жилах бьет
глухое всхлипывание крови.

Но в этой пустоте ночной,
при этом голом звездном гуле,
вложу ли в барабан резной
тугой и тусклый жемчуг пули

и, дула кисловатый лед
прижав о высохшее нёбо,
в бесплотный ринусь ли полет
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму,
великолепный и тяжелый, —
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?

20 января 1923 г.

Трамвай

Вот он летит, огнями ночь пробив,
крылатые рассыпав перезвоны,
и гром колес, как песнопений взрыв,
а стекла – озаренные иконы.

И спереди – горящее число
и рая обычайное название.
Мгновенное томит очарование —
и нет его, погасло, пронесло.

И в пенье ускользящего гула,
и в углубленье ночи неживой —
как бы зарница зыбкой синевой
за ним на повороте полыхнула.

Он пролетел, и не осмыслить мне,
что через час мелькнет зарница эта
и стрекотом, и судорогой света
по занавеске... там... в твоём окне.

21 января 1923 г.

Письма

Вот письма, все – твои (уже на сгибах тают
следы карандаша порывистого). Днем,
сложившись, спят они, в сухих цветах, в моем
душистом ящике, а ночью – вылетают,
полупрозрачные и слабые, скользят
и вьются надо мной, как бабочки: иную
поймаю пальцами и на лазурь ночную
гляжу через нее, и звезды в ней сквозят.

23 января 1923 г.

«День за днем, цветущий и летучий...»

День за днем, цветущий и летучий,
мчится в ночь, и вот уже мертво
царство исполинское, дремучий
папоротник счастья моего.

Но хранится, под землей беспечной,
в сердце сокровенного пласта
отпечаток всеерный и вечный,
призрак стрекозы, узор листа.

24 января 1923 г.

Эфемеры

Посвящается В. И. Полю

Спадая ризою с дымящихся высот
крутого рая – Слава! Слава! —
клубится без конца, пылает и ползет
поток – божественная лава...

И Сила гулкая, встающая со дна,
вздувает огненные зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе.

Вот поднялась горбом и пеной зацвела,
и нежно лопается пена,
и вырываются два плещущих крыла
из пламенеющего плена.

И ангел восстает стремительно-светло,
в потоке огненном зачатый, —
и в жилках золотых прозрачное крыло
мерцает бахромой зубчатой.

И беззаветную хвалу он пропоет,
на миг сияя над потоком, —
сквозными крыльями восторженно всплеснет,
исчезнет в пламени глубоком.

И вот возник другой из пышного огня,
с таким же возгласом блаженства:
вся жизнь его звенит и вся горит, звеня,
и вся – мгновенье совершенства.

И если смутно мне, и если даль мутна,
я призываю эти зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе...

26 января 1923 г.

«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...»

Ты все глядишь из тучи темно-сизой,
и лилия – в светящейся руке;
а я сквозь сон молю о лепестке
и все ищу в изгибах смутной ризы
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья
ни в музыке, ни в камне... Исподобья
глядят в мой сон два горестных луча.

27 января 1923 г.

«И утро будет: песни, песни...»

И утро будет: песни, песни,
каких не слышно и в раю,
и огненный промчится вестник,
взвив тонкую трубу свою.

Распахивая двери наши,
он пронесется, протрубит,
дыханьем расплавля чаши
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,
неслыханные острова,
немыслимые закоулки,
как пламя, облетит молва.

Тогда-то, с плавностью блаженной,
как ясновидящие, все
поднимемся, и в путь священный
по первой утренней росе.

30 января 1923 г.

«Глаза прикрою – и мгновенно...»

Глаза прикрою – и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостинной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы —
пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью
еловой, липовой, грибной:
там, по сырому пестролесью, —
свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше – сон речных извилин
и сенокоса тонкий мед.
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

3 февраля 1923 г.

«При луне, когда косую крышу...»

При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастья мне душу обдает;
кем-то ослепительно расколот
лунный мрак; и медленно в полет
собираюсь, вынимая руки
из карманов, трепещу, лечу,
но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: «Вы забыли, —
говорит, — летать запрещено».
И застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.

Берлин

6 марта 1924 г.

«Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное...»

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки.

Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7 марта 1923 г.

Памяти Гумилева

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит
о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских —
Пушкин.

19 марта 1923 г.

Родине

Посвящается моей сестре Елене

Воркующею теплотой шестая —
чужая — наливается весна.
Все ждет тебя душа моя простая,
гадаю у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух — как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,
звать изумленье рифмы и любви.
Не укоряй в час трудного горенья,
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.
Взволнованно душа тебя зовет,
текущий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо ярок,
а наша встреча — творчески-тиха;
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.

31 марта 1923 г.

Река

Каждый помнит какую-то русскую реку,
но бессильно запнется, едва
говорить о ней станет: даны человеку
лишь одни человечесьи слова.
А ведь реки, как души, все разные... нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река.

Для странников верных
качнул я дыханьем души
эти качели слогов равномерных
в бессонной тиши.

Повсюду —
в мороз и на зное —
встретишь
странников этих,
несущих, как чудо,
как бремя страстное,
родину.

Сам я, бездомный,
как-то ночью стоял на мосту
в городе мглистом,
огромном
и глядел в маслянистую
темноту
рядом с тенью случайно любимой,
стройной, как черное пламя,
да только с глазами
безнадежно чужими.

Я молчал, и спросила она на своем языке:
«Ты меня уж забыл?» —
и не в силах я был
объяснить,
что я там, далеко, на реке
илистой, тинистой, с именем милым,
с именем, что камышовая тишь...
Это словно из ямочки в глине
черно-синий
выстрелит стриж.
И вдоль по сердцу

носится
с криком своим изумленным: вий-вии!
Это было в России,
это было в раю...
Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою,
мимо леса,
полного иволог, солнца, прохлады грибной,
мимо леса,
где березовый ствол чуть сквозит белизной
стройной
в буйном бархате хвойном,
мимо красных крутых берегов
парчевых островков,
мимо плавных полянок сырых, в скабиозах
и лютиках.
Раз! – и тугие уключины
звякают, – раз! – и весло на весу
проливает огнистые слезы
в зеленую тень.
Чу! – в прибрежном лесу
кто-то легко зааукал...
Дремлет цветущая влага, подковы
листьев ползучих, фарфоровый купол
цветка
водяного.
Как мне запомнилась эта река,
узорная, узкая.
Вечереет...
(И как объяснить,
что значило русское
«вечереет»?)
Стрекоза – бирюзовая нить,
два крыла слюдяных – замерла
на перилах купальни...
Солнце в черемухах. Колокол дальний.
Тучки румяные, русые.
Червячка из чехла
выжмешь, за усики
вытащишь, и на крючок.
Ждешь. Клюет.
Сладко дрогнет леса, и блеснет,
шлепнет о мокрые доски
голубая плотва, головастый бычок
или хариус жесткий.
А когда мне удить надоест,
на деревянный навес
взберусь

(...Русь!...)
и оттуда беззвучно ныряю
в отраженный закат...
Ослепленный, плыву наугад,
ширяю,
навзничь ложусь — и не ведаю, где я —
в небесах, на воде ли.
Мошкара надо мною качается
вверх и вниз, вверх и вниз — без конца...
Вечер кончается.
Осторожно сдираю с лица
липкую травку.
В щиколку щиплет малявка:
сладок мне рыбий
слепой поцелуй.
В лиловеющей зыби
узел огненных струй —
и плыву я,
горю,
глотаю зарю
вечеровую...
А теперь в бесприютном краю,
уж давно не снимая котомки,
качаю — ловлю я, качаю — ловлю
строки о русской речонке,
строки, как отблески солнца, бессвязные...
А ведь реки, как души, все разные,
нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.
Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река...

*Берлин
8 апреля 1923 г.*

«Когда я по лестнице алмазной...»

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою —
и остановит, не отопрет.

«Апостол, скажу я, пропусти мя!...»
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седою,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росой
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

21 апреля 1923 г.

«В часы трудов счастливых и угрюмых...»

В часы трудов счастливых и угрюмых
моя благая слушает тоска,
как долгой ночью в исполинских думах
ворочаются в небе облака.

Ударит и скользнет Господь по лире,
здесь отзвук – свет еще одной зари...
Здесь все творит в сладчайшем этом мире
и от меня все требует: твори.

Гул дантовский в тебе я слышу, тополь,
когда ты серебришься пред грозой,
и муравьиный вижу я Акрополь,
когда гляжу на хвойный холм живой.

Поет вода, молясь легко и звонко,
и мотыльковых маленьких мадонн
закат в росинки вписывает тонко
под светлый рассыпающийся звон.

Так как же мне, в часы нагие ночи
томясь в себе, о, как же не творить,
когда весь мир, весь мир упрямый хочет
со мной дышать, гореть и говорить?

28 апреля 1923 г.

«О, как ты рвешься в путь крылатый...»

О, как ты рвешься в путь крылатый,
безумная душа моя,
из самой солнечной палаты
в больнице светлой бытия!

И, бредя о крутом полете,
как топчешься, как бьешься ты
в горячечной рубашке плоти,
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком
гудишь-звенишь сама с собой,
вообразив себя ребенком,
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,
терпи, самообман любя, —
смерть гроыхнет тугим засовом
и в вечность выпустит тебя.

2 мая 1923 г.

«Я странствую... Но как забыть? Свистящий...»

Я странствую... Но как забыть? Свистящий
рвал ветер твой платок, дышал прибой,
дышала ты... на гальке шелестящей
прощался я с отчиной и тобой.

Мотало ялик. Полоса тумана
луну пересекала пополам,
вздымалось море отгулом органа,
стекало по заплаканным скалам.

И ты на небывалое изгнание
благословляла жалобно меня,
и снилось мне, что ночь — твоё дыхание,
что ты умрешь при мановенье дня.

И клялся я, что вечно и повсюду,
на всех распутьях мировой глуши,
о, как беречь, как праздновать я буду
гнев и любовь — бессонницу души.

И море встало. Холодом и дымом
отхлынул берег, весь тобой звеня.
Я странствую... На берегу родимом
ты, верная, еще не ждешь меня.

*Берлин
Май 1923 г.*

«Нет, бытие – не зыбкая загадка!..»

Нет, бытие – не зыбкая загадка!
Подлунный дол и ясен, и росист.
Мы – гусеницы ангелов; и сладко
въедаться с краю в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни,
и чем жадней твой ход зеленый был,
тем бархатистей и великолепней
хвосты освобожденных крыл.

6 мая 1923 г.

Встреча

И странной близостью закованный...

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...
Как бы из зыбкой черноты
медлительного маскарада
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча
в ее атласные струи
той черной маски профиль волчий
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,
прошла ты, искоса маня;
и что душа в тебе узнала,
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,
в минутном повороте плеч
переживал я очерк смутный
других – неповторимых – встреч?

И романтическая жалость
тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно
трепещет стих, и в нем – стрела...
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих – непросиявших – глаз...

Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движение звезд над нашей встречей...
И если ты – судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...

Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба...

1923 г.

Песня

Верь: вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему – и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листьям искривленным,
ветер, мой пьяный и горестный брат,
и вдруг затих под окном озаренным:
ночь, ночь – и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
как тосковала,
как распевала,
молясь былому в чужих краях,
о полнолуние небывалом,
о небывалых соловьях.

И в темноте пылали звуки, —
рыдающая даль любви,
даль – и цыганские разлуки,
ночь, ночь – и в роще соловьи.

Но проносился ветер с моря
дыханьем соли и вина,
и гармонического горя
спадала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна,
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она...
О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,

о полнолуние небывалом,
о небывалом —
 ветер! Вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...
Все.

1923 г.

Прованс

1

Как жадно, затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напьюсь я хладного сверканья
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу в тени
евангелической оливы
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе,
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.

И пеньем дум моих влекома,
в лазури лиловой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.

2

Слоняюсь переулками без цели,
прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели,
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в звенящем мире этом
скользить плечом вдоль меловых оград,

быть русским заблудившимся поэтом
среди лепета латинского цикад!

Сольес-Пон

1923 г.

«Зовешь, – а в деревце гранатовом совенок...»

Зовешь, – а в деревце гранатовом совенок
полаивает, как щенок.
В вечерней вышине так одинок и звонок
луны изогнутый клинок.

Зовешь, – и плещет ключ вечернею лазурью.
Как голос твой, вода свежа,
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,
луна вонзается дрожа.

26 июля 1923 г.

«Как бледная заря, мой стих негромок...»

Как бледная заря, мой стих негромок,
и кратко звуковое бытие,
и вряд ли мой разборчивый потомок
припомнит птичье прозвище мое.

Что ж делать, муза, жизнь моя. Мы будем
в подстрочном примечанье скромно жить.
Не прозвенеть, не высказать мне людям,
что надо Божьей тенью дорожить.

Что Божья тень волнистая сквозь наши
завесы разноцветные видна;
что день и ночь — две дорогие чаши
живой воды и звездного вина.

Не прозвенеть, не высказать — и скоро
мою забудут бледную зарю,
и первая забудет та, которой
последние лучи я подарю.

И все же, муза, счастлив я... Ты нежность,
ты — тишина; с тобой нельзя грустить;
ты в пенье дней житейскую мятежность,
как лишний слог, не можешь допустить.

31 августа 1923 г.

«Ночь свищет, и в пожары млечные...»

Ночь свищет, и в пожары млечные,
в невероятные края,
проваливаясь в бездны вечные,
идет по звездам мысль моя,
как по волнам во тьме неистовой,
где манит Господа рука
растрепанного, серебристого,
скользящего ученика...

2 сентября 1923 г.

«Я помню в плюшевой оправе...»

Я помню в плюшевой оправе
дагеротипную мечту —
и очи в северной дубраве,
и губы в громовом порту.

Но ты... Прямой и тонкой тенью,
как бы ступая по стеклу,
внимая призрачному пенью,
вникая пристально во мглу, —

во мглу, где под железным кленом
я ждал, где, завернув с угла,
сквозные янтари со стоном
текли в сырые зеркала, —

безгласно в эту мглу вошла ты,
и все, что скучно стыло встарь,
все сказкой стало: клен зубчатый,
геометрический фонарь...

Ты... Платье черное мне снится,
во взгляде сдержанный огонь,
мне тихо на рукав ложится
продолговатая ладонь.

И вдруг, улыбкою нежданной
блеснув, указываешь мне:
клин теневой, провал обманный
на бледной, на косой стене.

Да, правда: город угловатый
играет жизнью колдовской
с тех пор, как в улицу вошла ты
своей стеклянною стопой.

И в этом мире небывалом
теней и света мы одни.
Вчера нам снились за каналом
венецианские огни.

И Гофман из зеркальной двери
вдруг вышел и в плаще прошел,
а под скамьею в темном сквере
я веер костяной нашел.

И непонятный выступ медный
горит сквозь дальнее стекло,
а на стене, косой и бледной, —
откуда? – черное крыло.

Гадая, все ты отмечаешь,
все игры вырезов ночных,
заговорю ли – отвечаешь,
как бы доканчивая стих.

Таинственно скользя по гласным,
ты шепчешь, замираешь ты,
и на лице твоём неясном
ловлю я тень моей мечты.

А там над улицею сонной,
черты земные затая,
стеною странно освещенной
стоит за мною жизнь моя.

Берлин
25 сентября 1923 г.

«Санкт-Петербург – узорный иней...»

Санкт-Петербург – узорный иней,
ex libris беса, может быть,
но дивный... Ты уплыл, и ныне
мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледной ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк
в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт-Петербург.

И, долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

*Берлин
25 сентября 1923 г.*

Гроза

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет, и сам
шалее от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые
по заблиставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая —
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.
Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц...

1923 г.

Автобус

Расшатывая сумрак бурый
огнями, жестяным горбом,
на шинах из слоновой шкуры
гремящий прокатился дом.

И вслед качнувшейся громаде,
как бы подхвачен темнотой,
я кинулся и вспрыгнул сзади
и взмыл по лестнице витой.

И там, придерживая шляпу,
в свистящей сырости ночной
я видел: выбросила лапу
и скрылась ветка надо мной.

И вспомнил: допотопный ужас,
бег, топот, выгибы клыков...
Пускай в гранатовые лужи
стекают стекла кабаков, —

пожарище тысячелетий,
душа дремучая моя,
отдай же мне огонь и ветер,
грома иного бытия!

Когда я, легкий, низколобый,
на ветке повисал один
над обезумевшею злобой
бегущих мамонтовых спин.

5 октября 1923 г.

Барс

Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит, и пьянит меня.

Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом
пожаром гибким и слепым
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолуние
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя.

1923 г.

«Милая, нежная – этих старинных...»

Милая, нежная – этих старинных,
песенных слов не боюсь и пою...
О, наклоняйся из сумерек длинных
в светлую бездну мою!

Я подарю тебе солнечной масти
рьяных коней, колесницу в цветах,
ибо сейчас я не пристальный мастер,
я – изумление и взмах.

Милая, нежная, я не ошибся,
часто мне женские снились черты.
Все они были из ломкого гипса,
золото легкое – ты.

Это, пойми, не стихи, а дыхание,
мреющий венчик над страстью моей,
переходящий в одно колыханье
неизмеримых зыбей.

17 октября 1923 г.

«Из мира уползли – и ноют на луне...»

Из мира уползли – и ноют на луне
шарманчики воспоминаний...
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни – тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи – души певучий прах, —
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит все, и я – в тенях ночных,
и прошлое горит неярно,
как в череpe сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...
Откуда?.. Уходи... Не надо...
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,
а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,
в часы томленья и тумана,
когда мне чудится невнятная игра
ушедших на луну шарманок...

Ноябрь 1923 г.

«Я Индией невидимой владею...»

Я Индией невидимой владею:
приди под синеву мою.
Я прикажу нагому чародею
в запястье обратить змею.

Тебе, неопикуемой царевне,
отдам за поцелуй Цейлон,
а за любовь – весь мой роскошный, древний,
тяжелозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатно-горячий,
тоскуют; и кругом дворца
шумят, как ливни, пальмовые чащи,
все ждем мы твоего лица.

Дам серьги – два стекающих рассвета,
дам сердце – из моей груди.
Я царь, и если ты не веришь в это,
не верь, но все равно, приди!

7 декабря 1923 г.

Видение

В снегах полуночной пустыни
мне снилась мать всех берез,
и кто-то – движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб;
и под березой одинокой
в бледно-пылящийся сугроб

склонился в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу

там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа...

1924 г.

Об ангелах

1

Неземной рассвет блеском облил...
Миры прикатили: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно,
торгуют безднами. Алый пар
от крыльев валит. И лучезарно
кипит божественный базар.

И в этом странствуя сиянье,
там я купил – за песнь одну —
женскую душу и в придачу нанял
самую дорогую весну.

2

Представь: мы его встречаем
вон там, где в лисичках пень,
и был он необычаен,
как радуга в зимний день.

Он хвойную занозу
из пятки босой тащил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы.

И он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез.

Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке

и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.

1924 г.

Смерть

Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.

И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю,
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола.

1924 г.

Скитальцы

За громадные годы изгнания,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мироздания,
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер вся Русь,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собой на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.

1924 г.

На рассвете

Я показывал твой смятый снимок
трем блудницам. Плыл кабак ночной,
Рассвело. Убогий город вымок
в бледном воздухе. Я шел домой.

Освещенное окно, где черный
человечек брился, помню; стон
первого трамвая; и просторный,
тронутый рассветом небосклон.

Боль моя лучи свои простерла,
в небеса невысохшие шла.
Голое переполнялось горло
судорогой битого стекла.

И окно погасло: кончил бриться.
День рабочий, бледный, впереди.
А в крови все голос твой струится:
навсегда, сказала, уходи.

И подумала; и где-то капал
кран; и повторила: «навсегда».
В обмороке, очень тихо, на пол
тихо соскользнула, как вода.

*Берлин
8 февраля 1924 г.*

Гость

Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, – душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,
в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,
и тяжело из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова,
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.

Но, не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.

1924 г.

Кубы

Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь – сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.

Ты – в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.

1924 г.

Стансы

Ничем не смоешь подписи косою
судьбы на человеческой ладони,
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.

Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильнее стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Мона Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах.
Прости, прости, что рай я уничтожил,
в двух бархатных и пристальных мирах
единый миг как бог я прожил.

Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,
с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминучей...

1924 г.

La bonne Lorraine

Жгли англичане, жгли мою подругу,
на площади в Руане жгли ее.
Палач мне продал черную кольчугу,
клювастый шлем и мертвое копье.

Ты здесь со мной, железная святая,
и мир с тех пор стал холоден и прост:
косая тень и лестница витая,
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою
дрожит и каплет воском на ремни.
Мы, воины, летали за тобою,
в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало,
и, молча выскользнув из лат мужских,
ты, белая и слабая, сгорала
в объятьях верных рыцарей твоих.

*Берлин
1924 г.*

Молитва

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движение ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волнение нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.

1924 г.

Стихи

Блуждая по запущенному саду,
я видел, в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

1924 г.

Санкт-Петербург

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя бывшая.
На вывеске плавучей – глянь —
какая рыба голубая.

В Петровом бледном небе – штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

*Берлин
26 мая 1924 г.*

Вечер

Я в угол сарая кирку и лопату
свалил с плеча и пот отер
и медленно вышел навстречу закату
в прохладный розовый костер.

Он мирно пылал за высокими буками,
между траурных ветвей,
где вспыхнул на миг драгоценными звуками
напряженный соловей.

И сдавленный гам, жабий хор гуттаперчевый
на пруду упруго пел.
Осекся. Пушком мимолетным доверчиво
мотылек мне лоб задел.

Темнели холмы: там блеснул утешительный
трепет огоньков ночных.
Далече пропыхивал поезд. И длительно
свистнул... длительно утих...

И пахло травой. И стоял я без мысли.
Когда же смолк туманный гуд,
заметил, что смерклось, что звезды нависли,
что слезы по лицу текут.

10 июля 1924 г.

«Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?..»

Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?

И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.

Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой».

Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.

*Берлин
27 сентября 1924 г.*

Страна стихов

Дай руки, в путь! Найдем среди планет
пленительных такую, где не нужен
житейский труд. От хлеба до жемчужин
все купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет
в блаженный край, что музой обнаружен,
где нам дадут за рифму целый ужин
и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...
Какие дни. Как благостны закаты.
Кипят ключи кастальские во мгле.

И, глядя в ночь на лунные оливы
в стране стихов, где боги справедливы,
как тосковать мы будем о земле!

1924 г.

Исход

Муза с возгласом, со вздохом шумным
у меня забилась на руках.
В звездном небе, тихом и безумном,
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека.

Через Млечный Путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту — о муза, как неожиданно! —
явственные невские мосты.

И, задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник, в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текущей
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,
и, неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.

Берлин

11 сентября 1924 г.

Костер

На сумрачной чужбине, в чаще,
где ужас очертанья стер,
среди прогалины – горящий,
как сердце жаркое, костер.

Вокруг синеющие тени,
и сквозь летающую сеть
теней и рдяных отражений
склоненных лиц не разглядеть.

Но, отгоняя сумрак жадный,
вот песня вспыхнула в тиши,
гори, гори, костер отрадный,
шинели наши осуши.

И снова всколыхнулись плечи,
и снова полнозвучный взмах,
кипят воинственные речи,
и слезы светятся в глазах.

Зверье, блуждающее в чащах,
лесные духи и ветра
бегут от этих глаз горящих
и от поющего костра.

Зато с каким благоговеньем,
с какою верой в трудный путь,
утешен пламенем и пеньем,
подходит странник отдохнуть.

*Берлин
Ноябрь 1924 г.*

Утро

Шум зари мне чудился, кипучий
муравейник отблесков за тучей.
На ограду мрака и огня,
на ограду реющего рая
облокачивался Зодчий Дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.

Выше, выше... выше! Впопыхах
просыпаюсь. Купол занавески,
полный ветра, в синеватом блеске
дышит и спадает. Во дворах
по коврам уже стучат служанки,
и, пальбою плоской окружен,
медяки вымаливает стон
старой, удивительной шарманки.

*Берлин
5 декабря 1924 г.*

В пещере

Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул – и было
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,
сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиление, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.

*Берлин
11 декабря 1924 г.*

К родине

Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркиваетмышь,
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость – твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

Так все тело – только образ твой,
и душа – как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

1924 г.

Великан

Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему, и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи
над головою белого быка.
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,
Шагал, неотразимый, как зима.
Охотники, плутавшие в метели,
его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела
и замер вдруг: цвела твоя страна,
ты счастлива была, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне.

И, перед этим солнцем отступая,
поняв, что с ним соперничать нельзя,
растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя.

*Берлин
13 декабря 1924 г.*

Шекспир

Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки —
все было, как у всех... Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив — но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.
И то сказать: труды твои привык
подписывать — за плату — ростовщик,
тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны. Мне охота
воображать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою — невзначай,
пока меняли лошадей — и, верно,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.